

Библиография

Дмитрий Колчигин

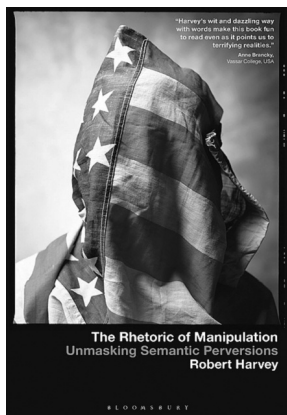
Манипуляция как предмет и метод

DOI: 10.53953/08696365_2026_198_2_293

Harvey R. *The Rhetoric of Manipulation: Unmasking Semantic Perversions.*

New York: Bloomsbury Academic, 2025. — V, 207 p.

Новая книга нью-йоркского литературоведа, философа и переводчика Роберта Харви кажется отдельно стоящей в общем корпусе его работ: если прежде Харви был известен в основном как автор работ о Сартре и Деги, переводчик Лиотара и редактор полного собрания сочинений Дюрас, то в «Риторике манипуляции» он выступает скорее как социолингвист и аналитик публичной политики. Отдельные темы, затронутые в «Риторике манипуляции», восходят, пожалуй, к предыдущей книге Харви¹, однако здесь они отходят на задний план, а вперед выдвигаются вопросы преднамеренных семантических искажений, облегчающих манипуляцию современным обществом и отчасти даже воплощающих собой эту манипуляцию.



Любопытная особенность книги — сам подход автора к манипуляции: по его мнению, манипулятивные практики как таковые не являются чем-то заведомо предосудительным — вопрос, скорее, в их целевом и методическом приложении. Этот подход наглядно иллюстрирует предложенная Харви классификация: есть манипуляции «благотворные» и есть «вероломные» (с. 3). Первый тип, согласно «Риторике манипуляции», побуждает реципиента к самостоятельному мышлению, «открывает глаза на те условия и ситуации, к которым сам человек, вероятно, был слеп», и являет собой некое художественное видение реальности, «не искаженное идеологией, произвольными определениями нормальности или приличия, не запятнан-

1 Harvey R. *Sharing Common Ground: A Space for Ethics.* New York: Bloomsbury Academic, 2017. Ср., в частности, вторую главу этой книги («Эмпатия и кантовское понятие

ное предрассудками». Второй же тип манипуляции, «вероломный», подразумевает некий злой умысел, и Харви определяет его исключительно в эмоционально насыщенных формулировках, таких как «лукавый обман», «коварные уловки», «бедственное, гибельное влияние» и даже «ад на земле»². Конкретные черты такой манипуляции приходится выводить ретроактивным способом из апофатического определения манипуляций «благотворных»: если последние не искажены идеологическими установками, предрассудками и т.п., то, очевидно, «вероломные» манипуляции подвержены такому искажению.

Чтобы поддерживать подобное дуалистическое равновесие между двумя типами манипуляции, Харви приходится обращаться к двум разным словарным определениям этого термина: когда речь идет о злокозненных манипуляциях, он приводит дефиницию вторичного порядка («управляющее или руководящее воздействие на человека, осуществляемое при помощи хитроумных уловок»), а в случае манипуляций «художественных», вроде бы полезных для общества, он уже прибегает к исконно-этимологическому определению слова («ручная работа над чем-либо»). Последнее создает целую группу проблем: прямое и буквальное значение приходится прилагать к понятийному ряду, связанному с интеллектуальным творчеством, к образным конструкциям, так что фактически оно снова становится переносным, склоняется к производному значению и, в общем, перестает работать в той полярной схеме, которую выстраивает Харви. «Работу руками» и «воздействие на человека» с большим трудом можно противопоставлять, а «манипуляция» здесь — не более чем омоним для двух понятий из совершенно разных семантических полей. Чтобы скрыть этот явный функциональный сбой, автор прибегает к любопытному риторическому ухищрению, а именно — насыщает свой текст разного рода каламбурами, так или иначе связанными с представлением о руке и словом «рука»: *underhanded, even-handed, at hand, handy, handicraft*, здесь же — рассуждение о левшах и правшах в искусстве и т.д. Пожалуй, обилие устойчивых оборотов с переносным значением действительно размывает в читательском восприятии изначальный дефект в аргументации. И тем не менее автор разграничивает два типа манипуляции на некорректном семантическом основании, и само представление о «благотворной» манипуляции базируется на одном лишь ассоциативном ряде, позволяющем увязывать идеологическую беспристрастность с «честным» ручным ремеслом.

Эта методическая авантюра заставляет Харви утверждать, будто изобразительное искусство (подразумевающее хотя бы некоторый ручной труд) куда менее подвержено негативным тенденциям и в меньшей степени излучает «вероломную» манипулятивность, в то время как классические гуманистические дисциплины, связанные с языковой практикой, оказываются важнейшим источником всякого рода дискурсивных перверсий, причем главным источником всех бед объявляется, чего и стоило ждать, риторика как таковая (с. 4)³. Но справедливо ли заявлять, что речевой образ более манипулятивен, чем иконологический? В своей книге Харви

о Возвышенном») с производными рассуждениями в «Риторике манипуляции» (с. 22, 30, 158, 159): милитаристский лексикон конца XX — начала XXI в., как показывает Харви, может быть вписан в единое семантическое поле с эстетической дискуссией о возвышенном. Ср. также анализ сценария Маргерит Дюрас к фильму «Хиросима, любовь моя» (Ibid. P. 1–61) и рекурсивную тему Хиросимы в «Риторике манипуляции».

- 2 Харви и сам отмечает, что «значительная часть этой книги написана в гневе и с разочарованием» (с. 7).
- 3 Это уже становится общим местом в работах последнего времени: принципиальное недоверие к риторике, типичное для немецкой традиции эпохи Просвещения, все глубже укореняется в профессиональном филолого-политологическом дискурсе

повсеместно полагается на знаменитую книгу Виктора Клемперера «Lingua Tertii Imperii» (у Харви — «Lingua Tertii Imperium»⁴; далее — ЛТИ⁵), которая, по его словам, прекрасно продемонстрировала «искажение языка во имя добровольного рабства целой нации», «семантическое передергивание, за которым стоял один конкретный тоталитарный режим» (с. 5). Нельзя не отметить, что на сегодняшний день существует уже целый ряд аналогичных работ, посвященных другим медиа национал-социалистической пропаганды, в том числе (и даже прежде всего) пластическим, изобразительным, визуальным и «рукотворным»⁶.

Главной бедой современного общества и информационного пространства Харви называет намеренные, политически мотивированные семантические искажения, глубоко внедренные в самое «ядро сознания» и способные «притуплять и выхолащивать» человеческую мысль; Харви называет это «извращенным именованием» и связывает с двумя основными сферами: войной и корпоративным управлением (с. 7). Все это, очевидно, центрируется где-то на стыке социолингвистики и стилистики (ср. с. 4) и касается вопросов скорее языковых, чем речевых (см., например, с. 63–66), но в связи с этим неясно, почему проблемы общесемантического порядка предлагается рассматривать как подраздел гораздо более ситуативной риторической дисциплины.

Как бы то ни было, первая группа языковых искажений, к рассмотрению которой подступает Харви, связана с войной и милитаризацией общественного сознания. Здесь автор непосредственно переходит от несколько шатких методических оснований и теоретических построений к практике дискурсивного анализа и в этом соприкосновении с жизнью и практикой заметно прибавляет в убедительности своих выведений. Культура насилия, пишет он, созревает внутри «речевого гумуса»: военные эвфемизмы, призванные анестезировать общество и притупить естественное отторжение (поначалу неизбежно возникающее в ответ на воинственную риторику), вводятся так глубоко в речевую практику, становятся столь затертыми «мертвыми метафорами», что начинают восприниматься как должное, не подвергаются критике и в конечном счете укореняются, делаются общепринятыми. Вращение агрессивных тропов в повседневность, пусть даже в обезвреженном эвфемистическом виде, милитаризует ее, так что едва ли не всякое обращение к языку заставляет обывателя зачерпывать смыслы из того семантического массива, который «постоянно держит страну в состоянии вооруженного конфликта» (с. 9).

Примечательно, что ответственность за «зловещую изнанку» слов Харви возлагает не только на государственную пропаганду (с этим явлением, как он считает, бороться бессмысленно: пропагандистская подоплека имманентна самому явлению государственности), но еще и на гражданина как индивидуума: постоянное нахождение в полусознательном состоянии, неразвитость критических навыков,

XXI в., притом что сам этот дискурс риторизирован до пределов возможного даже в критических его построениях. Кажется, мы имеем дело со специфическим феноменом современности — его можно назвать «манипуляция риторикой», — нуждаемся в специальном осмыслении.

- 4 Кроме того, дневники Клемперера — «Die Tagebücher» — в «Риторике манипуляции» называются «Tagesbücher». Учитывая, что Клемперер служит Харви основным теоретическим ориентиром («не просто играет ключевую роль в этой книге», а «курирует каждую страницу»), можно было бы ожидать от автора большей внимательности.
- 5 Цитаты ниже приводятся по изданию: *Клемперер В. ЛТИ: Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога / Пер. с нем. А. Григорьева. М.: Прогресс-Традиция, 1998.*
- 6 В первую очередь следует вспомнить работы Герхарда Пауля: *Paul G. Aufstand der Bilder. Die NS-Propaganda vor 1933. Bonn: J.H.W. Dietz, 1990; Idem. Bilder einer Diktatur. Zur Visual History des «Dritten Reiches». Göttingen: Wallstein, 2020* и др.

нехватка информационной бдительности делают человека идеальным потребителем и распространителем нездоровых языковых моделей. Здесь, впрочем, можно оговориться, что «изнанкой» пропаганды может быть именно культивация такого рода духовной абулии в обществе, и, соответственно, граница между индивидуальным и навязанным остается несколько размытой. Харви, со своей стороны, полагает, что разоблачение семантических искажений на конкретных примерах, как в своего рода психоаналитической терапии (см. с. 11), откроет глаза если не обществу, то хотя бы отдельным его представителям на манипуляторную природу всего информационного поля.

Одним из наиболее характерных приемов, при помощи которых перенастраивается общественное сознание, Харви называет наслоение искусственной омонимии: одним и тем же словом или понятием предлагается называть два принципиально разных события или явления, из которых одно, более позднее и скорее выгодное для манипулятора, призвано затмить и заменить собой другое, более раннее и выставляющее манипулятора в неприглядном свете. В качестве основного примера Харви приводит понятие *ground zero*, первоначально обозначавшее точку взрыва американской ядерной бомбы над Японией: с 2001 г. так стали называть участок земли, на котором до 11 сентября располагались корпуса Всемирного торгового центра, а сегодня *ground zero* — это эпицентр любых событий или тенденций, неблагоприятных для Соединенных Штатов или, во всяком случае, изображаемых в речи как неблагоприятные («Денвер — *ground zero* нашего миграционного кризиса» и т.д.). Беспорядочное использование термина, пишет Харви, уводит историческую реальность в забвение и подменяет память о собственном военном преступлении риторикой «жертвенности». Может показаться, что две топографические точки, Хиросима и южный Манхэттен, сближаются здесь как раз по нравственному принципу — как два места, в которых были совершены преступления против человечества; Харви, впрочем, предупреждает подобный ход мысли и специально отмечает факты «коллективной амнезии», не позволяющей американцам признавать «моральное равенство» двух кровопролитных акций (с. 12).

В целом стратегия омонимизации, если таковая действительно выстраивается с конкретными целями, выглядит довольно рискованной: полностью контролировать семантические сдвиги невозможно, и нет никакой гарантии, что значение сдвинется в ту сторону, которую наметил манипулятор. Не исключено, что подобная терминологическая операция приведет к возрождению былых значений и обратит общественное внимание не в том направлении (как, например, само представление о *ground zero* заставляет Харви рассуждать о «нежелательной» исторической памяти, которая без соответствующего понятия здесь даже не воскресала бы). Теория манипулятивной омонимии представляется любопытным подступом к ранее не изученному явлению, однако это именно подступ, а не полноценно развитая концепция: на основании единственного примера, пусть даже и детально рассмотренного, судить о языковом явлении весьма затруднительно. Здесь мы вновь сталкиваемся с одной из главных и достаточно проблемных черт «Риторики манипуляции» — с приматом всего остроумного и каламбурного (уже на обложке книга отрекомендована как *fun to read*). Харви выдвигает на передний план всю концепцию омонимии с центральным образом «эпицентра» просто из композиционных соображений: теракты 11 сентября он считает водоразделом, обусловившим все дальнейшие языковые манипуляции в США, и, соответственно, берет своему *ground zero* в качестве «нулевой точки» для собственных выведений.

Харви ссылается на Клемперера и проводит параллель между своим примером и рассмотренным в ЛТМ немецким окказионализмом *coventrieren* (то есть «разбомбить город так же, как был разбомблен Ковентри»). На деле, однако, эти примеры

кажутся противоположными, и мысль Клемперера скорее подрывает выводы Харви, чем подтверждает их: уничтожив Ковентри, Германия угрожала «ковентризовать» любой другой британский город, но, когда разрушительным бомбардировкам подверглись немецкие города, нацистская пропаганда немедленно отбросила свое хвастливо-угрожающее словесное нововведение: «Глагол “ковентризовать”, — писал Клемперер, — канул в Лету, гробовым молчанием обходила его та самая пропаганда, которая изо дня в день проклинала вражеских “пиратов и гангстеров” <...>, а значит, не имела права напоминать о собственных гангстерских подвигах <...>. Глагол “ковентризовать” погребен в руинах немецких городов» (ЛТИ, с. 164). Такое поведение официальной пропаганды вполне укладывается в рамки стандартного двуличия, и здесь не прослеживается никакой работы с омонимией. Рассуждения Клемперера о милитаризации языка касались только тех понятий, которые непосредственно восходили к армейскому лексикону («атмосферный фронт» и т.п.), в то время как оборот *ground zero* — не вполне милитаристский, а скорее инженерно-технический. Насколько вообще корректно сравнивать авторитарное присваивание языка государством в национал-социалистической Германии с семантическими сдвигами, происходящими в эпоху информации или, точнее, информационного перенасыщения?»

Харви как будто признает разность обстоятельств («Я не намерен утверждать, что мы живем при некоем воплощении Третьего рейха образца XXI столетия»), но все же сближает и отождествляет лингвистические предпосылки: «Если мы не откроем глаза на способность языка потайным образом воздействовать на наши мысли <...>, то чудовища могут явиться снова и обязательно явятся» (с. 6). Стоит отметить, впрочем, что милитаризация немецкого языка, запечатленная в ее фи-

-
- 7 В другом случае (с. 21) Харви экстраполирует анализ Клемперера, касающийся спортивной лексики и метафоры в устах разжигателей войны, на современные видеоролики, ограничиваясь, впрочем, только их названиями и не вдаваясь в содержание. Сложно сказать, насколько здесь применимо понятие риторики: *коммерческие стратегии* все же существенно отличаются от государственного провоенного дискурса (хотя Харви систематически сближает эти два явления как деструктивное влияние «капитала»). К тому же Клемперер отмечал (см. ЛТИ, с. 301), что постоянными сравнениями войны со спортом (прежде всего с боксом) Геббельс не столько популяризовал войну, сколько низвел ее в общественном сознании до наиболее грубых и кровавых проявлений; вряд ли описанные в ЛТИ процессы могут воспроизводиться в условном киберпространстве с его абстрактностью и развернутой стратегией. Одно из важнейших клемпереровских понятий, «проклятье суперлатива», тоже находит некоторое отражение в «Риторике манипуляции»: необходимость пропаганды постоянно наращивать масштабы собственных преувеличений Клемперер рассматривал как обоюдоострое оружие, способное как довести пропаганду до гротеска и лишить ее всякой достоверности, так и, наоборот, окончательно сломить в обществе малейшие остатки критического сопротивления (см. ЛТИ, с. 286). Харви называет это «инфляционной риторикой», противоположной эвфемизму (в таком случае, вероятно, безмерную генерализацию переносного смысла «войны как борьбы» также следует отнести именно сюда, а не выделять в отдельную, метафорическую, группу манипуляций), и находит ей в XXI в. всего один, притом не особенно яркий, пример: «Шок и трепет» как название американской военной доктрины. Здесь нужно заметить, что в классической системе заглавие чего бы то ни было вообще не считается риторическим материалом; если у Клемперера в соответствующем разделе рассматривались весьма разнообразные риторические приемы из официальной прессы, объединенные идеей отчаянной похвалы, раздутой надвигающимся поражением, то Харви неизменно предлагает вербалистический подход и ищет формулы (а то и единственную формулу!) вместо риторических конструкций как таковых.

нальном развитии у Клемперера, началась не в 1930-е гг., а в эпоху Первой мировой, и в годы Веймарской республики тенденция только нарастала — достаточно вспомнить о так называемом Немецком языковом обществе, имевшем широчайшую поддержку даже в профессиональных кругах. В Третьем рейхе, другими словами, была лишь достигнута критическая масса тех самых языковых «перверсий». Судя по всему, корнем сложившихся обстоятельств, неким аналогом семантического переворота времен Первой мировой Харви считает концепцию «войны с террором», провозглашенную в начале XXI в.

Само понятие о *войне* с террором позаимствовано, как показывает Харви, из более общего «источника метафор», благодаря которому любая борьба с любым явлением именуется «войной»: война с наркотиками, с бедностью, с инфляцией и т.п.⁸ Даже когда речь идет о необходимых и общественно полезных мерах, обозначение борьбы как войны свидетельствует, по Харви, о склонности общества к насилию и нормализации насилия (в обществе воспитывается «покорность политике перманентной войны»)⁹. Возвышение переносных значений как манипулятивная тактика подводит Харви к еще одной группе риторических ухищрений, необходимых государствам для оправдания войн, — эвфемистическим перифразам. Так, международную боевую группировку в прессе могут называть «коалицией добровольцев», бомбардировки — «точечными» или «хирургическими» ударами, бомбы и ракеты — «умным оружием», акты устрашения — «демографическим таргетингом», а пытки — «расширенными методами допроса» (с. 18)¹⁰.

С другой стороны, сами войны нередко называются «операциями» (антитеррористическими и т.п.), «акциями», «упреждающей обороной», о чем пишет михоходом и сам Харви (с. 19). Насколько эвфемизмы такого рода гармонируют с уже упомянутыми метафорами? Почему государство всячески стремится создать «просвещенный и гуманный образ смертоносной деятельности» (там же), если насилие считается нормой, общество находится в «критической летаргии», а война (против чего угодно) рассматривается как единственная эффективная мера, как «неизбежное решение всех проблем» (с. 14, 21)? Почему поддержание насильственного тона в обществе постоянными метафорическими «войнами» сопровождается перетолкованием, благоречивыми перифразами для войн как таковых? Говорит ли один метод о неэффективности другого или же разные манипулятивные тактики направлены на разные социальные группы?

-
- 8 Как только метафора «натурализуется», то есть входит в повседневную речь (за пределами критических рассуждений), понятие настолько с этой метафорой срастается, что «думать о нем как-то иначе становится просто невозможно» (с. 191). Усвоенная семантическая завеса ослепляет общество, а «шум языка» его оглушает.
- 9 Здесь же Харви перечисляет названия разных военных операций за последние несколько десятилетий и утверждает, что каждое из них призвано оправдывать операцию, доказывать, что это акция «справедливая, доблестная, законная, непредвзятая, необходимая и нацеленная на установление мира». Некоторые из названий («Мангуст», «Кондор», «Бочка») не особенно вписываются в эту картину. Любопытнее выглядит замечание о том, что оружие и военные машины в США часто называют терминами, «узурпированными» у подавленных коренных народов («Апачи», «Команчи», «Томагавк» и т.п.); замечание это, впрочем, принадлежит Ноаму Хомскому (см. с. 15).
- 10 И наоборот — милитаристская лексика прочно вращается в мирную жизнь академических университетов: разрабатываются «стратегии» и ведутся «кампании» по привлечению студентов; конференц-залы, в которых проводятся «брифинги» по учебной программе, именуются *war rooms*; преподавательская деятельность называется «маневрами на передовой», а неактуальные учебные планы попадают «под огонь» (см. с. 191, 192).

И, может быть, главный вопрос: если «война с террором» из метафорической становится реальной (см. с. 30 и след.), то как это вписывается в схему «риторических манипуляций»? С одной стороны, такое явление может быть сильным аргументом в пользу теории (которой придерживается сам Харви) о лингвоцентричном мире, конституированном языком. С другой — не вполне ясно, как такой процесс должен работать в рамках системы, обрисованной в книге: если эвфемистические манипуляции противоположны «инфляционным», то по какому принципу одно может перейти в другое без лексического или семантического переустройства? Эти вопросы в книге не раскрываются, однако в заслугу автору следует поставить само умение их поставить, пусть и косвенно, между строк. Сами же строки во всем последующем разделе заняты рассуждением о второй семантической составляющей оборота «война с террором». Харви приходит к выводу, что понятия «терроризм» и «террорист» в современном мире настолько обобщены, что сфера их применения практически безгранична и может радикально варьироваться в зависимости от убеждений и намерений говорящего. Террористическим провозглашается любой нежелательный элемент, а клеймо террориста оказывается новой практикой расчеловечивания. Все это, отметим в очередной раз, суть рассуждения о стиле и семантике, а не о риторике: последнее требовало бы (как это сделано у Клемперера) конкретных речевых контекстов, в то время как накопление противоречивых значений в одном слове — явление лингвистического порядка.

Как можно заметить, Харви достаточно широко толкует само понятие о риторике в XXI в.; риторический аппарат манипулятивной пропаганды практически тождественен стилю. Очень важными оказываются, например, вопросы пунктуационного интонирования; такой инструмент, как иронические кавычки, исключительно возвышается в своем значении — Харви пишет даже, что это едва ли не главный знак препинания для последних десятилетий (с. 37). Иронические кавычки позволяют отчуждать, остраивать любое понятие в тексте и демонстрировать желаемую дистанцию между автором, самим понятием и читателем как воспринимающей стороной. Эта тема — риторизация иронических кавычек — тоже заимствована из ЛТИ; письменный язык Третьего рейха, как указывал Клемперер, оказался в какой-то момент переполнен ироническими кавычками, ставшими симптоматическим проявлением риторизации официального языка; первым примером была формула «избранный» народ» (ЛТИ, с. 338), за ней последовало заключение в презрительные кавычки слова «гуманизм» (ЛТИ, с. 182), а в последующие годы началась подлинная эпидемия: иронические кавычки заполнили не только печатные тексты речей и официальные газетные публикации, но даже научные работы; это, по Клемпереру, было чисто немецким явлением (хотя сами по себе иронические кавычки и не были изобретены в Германии), идущим от подражания экзальтированным интонациям нацистских вождей (ЛТИ, с. 96)¹¹.

11 Ироническим кавычкам в самом непосредственном, клемпереровском смысле Харви посвящает специальный подраздел, основанный на высказываниях Дональда Трампа в социальных сетях; он пробует разделить кавычки на «отпугивающие», то есть просто изолирующие, и «саркастические», то есть используемые в явно уничижительном смысле. У Клемперера то и другое объединялось в единую группу. Подход Харви следует признать менее практичным: во-первых, контекстуальное и синтаксическое отчуждение слова само по себе может быть условно дискриминационным, а во-вторых, границы между иронией и «злой» иронией (сарказмом) зачастую сложно проводить с достаточным для научного анализа уровнем достоверности. Само определение из «Риторики манипуляции» — «Базовая цель саркастических кавычек (*sneer quotes*) заключается в том, чтобы приписать кому-то другому то негативное качество, которое на самом деле характерно для самого говорящего» (с. 81) —

Харви, однако, отталкиваясь от наборок Клемперера, показывает, что иронические кавычки как систематическое явление вышли далеко за пределы языка Третьего рейха и немецкого языка в целом; на сегодняшний день их использование можно считать общемировой практикой¹². В «Риторике манипуляции» обобщается и рассматривается великое множество «проявлений и последствий» использования иронических кавычек (в драматических произведениях, цитатах, философских трактатах, соцсетях и т.п.) — все то, что Харви называет карантинированием слов и понятий, установлением «пунктуационного *cordon sanitaire*» (с. 45). Большинство из этих практик не является в непосредственном смысле манипулятивным, однако весь этот раздел отмечен несомненной исследовательской ценностью: автор прослеживает историю иронических кавычек, рассматривает возможные интенции для их использования и, главное, обращает внимание на рекурсивное влияние печатного текста, наблюдаемое в современной речи. Здесь он уже выходит за пределы, установленные Клемперером, и предлагает нечто вполне самостоятельное.

Так, в книге охвачен целый ряд интонационных и жестовых отражений, найденных типографскими кавычками в живом общении и устном сообщении: это и прямое произнесение слова «цитата», и прибавление формальных указателей («так называемый», «якобы»), и слова-паразиты, превращающие косвенную речь в сплошной поток кавычек («типа»), и использование иноязычных оборотов (явно выделяющихся как в тексте, так и в речи), и воздушные кавычки (жест, имитирующий постановку знака препинания), которые к тому же могут меняться в зависимости от принятых в той или иной стране типографских нормативов. Все это Харви называет полиморфизмом кавычек и считает примером того, как письмо может, по Деррида, предшествовать речи. Одной из наиболее показательных черт современного узуса Харви считает не только разнообразную по своей форме и мотивации постановку кавычек, но еще и опущение этого знака препинания по внутренним, инвентивным поводам в тех случаях, когда контекст и орфографическое оформление явно предполагают его использование. Это крайне оригинальная постановка вопроса и, по сути, подступ к своего рода метариторике, которая так глубоко входит в «постиронический» дискурс, что действительно нуждается в специальном истолковании. В этом смысле одним из наиболее интересных и развернутых оказывается подраздел о скрытии кавычек (с. 64 и след.): если прямое их использование нацелено главным образом на обособление концепций, то сокрытие, «дематериализация», кавычек позволяет развеять чувство вторичности, ироничного неправдоподобия, лицемерности в рамках того или иного высказывания.

В сущности, под сокрытием кавычек Харви понимает систематическую манипуляцию слушателем при помощи лукавых и неискренних формулировок, в которых искажается подлинное значение употребляемых слов: когда, допустим, рукотворные события, в которых повинна сама власть, официальные источники называют «трагедиями», смерть в бессмысленных конфликтах — «героизмом», участие в государственных преступлениях — «вкладом в позитивные изменения»

окончательно порывает с риторикой и увязывается скорее с полуосознанным лицемерием психологических проекций. Разумеется, это дополнительно затрудняет и без того непростое разведение двух видов иронии и двух зависимых пунктуационных типов.

12 Харви специально отмечает, что лишь по необходимости заимствует только английские примеры, а на самом деле их можно собрать практически на любом языковом материале; примечательной особенностью английского бытования является обозначение иронических кавычек как *scare quotes*, или кавычек «отпугивающих», — см. об этом на с. 45–46, где рассматривается небезынтересная история этого понятия, связанная с переводами из Аристотеля.

и т.п. (даже само слово «американец» Харви считает примером политической манипуляции такого рода, поскольку в нем США как будто отождествляются со всей биконтинентальной Америкой — см. с. 69). В отличие от прямого использования кавычек, хотя бы отчасти сигнализирующего о намерении автора, всякое употребление слова в неверном смысле или с наигранными натяжками оказывается попыткой скрыть мотивы за набором речевых символов. Притом что такие практики несомненно являются манипулятивными и даже имеют отношение к риторике, позиционирование их в разделе о «дематериализации кавычек» вызывает некоторое недоумение: следует ли полагать, что всякое использование слова в несобственном смысле, в свое оправдание, в скрытой критике, в неискренних соболезнованиях, в личных интересах должно отмечаться кавычками, чтобы удовлетворить требованиям науки, с позиций которой высказывается Харви? Но даже в этом случае нас подстерегает круговой критический оборот с презумпцией виновности: постановка кавычек рассматривается как открытый манипулятивный прием и «перверсия», а их отсутствие — как более хитрый, подспудный манипулятивный прием и окончательное «отравление» языка.

Формулировки иногда крайне расплывчаты: сказано, допустим, что вся система кавычек, проставленных и опущенных, действует «на имплицитном уровне», что их функцию нужно «чувствовать», а об их действии «догадываться» (причем все это «только усиливает манипулятивный эффект!»), — в результате создается впечатление, что сам этот способ обнаружения риторических уловок есть не более чем уловка и инструмент для борьбы с политическими противниками. На с. 82–83 приводится, скажем, такой пример: израильский журналист Йоси Галеви пишет о движении за «возвращение» палестинцев (потомков беженцев из времен Накбы) на территорию Израиля. Харви, очевидным образом придерживающийся антиизраильских позиций (см. его высказывания на с. 29, 30, 132, 135 и др.), толкует постановку кавычек следующим образом: термин «возвращение» (ср. «Закон о возвращении») якобы признается здесь только за евреями, «и любые претензии других людей на эту привилегию с презрением интернируются за оградой саркастических кавычек». Легко можно дать совершенно иное толкование: «возвращение» используется здесь не в обобщенном смысле, а как израильский законодательный термин, и кавычки подчеркивают эту специфическую окраску. Тот же самый текст без кавычек по системе Харви тоже можно без особых затруднений заклеить как манипулятивный и уничижительный: отказ автора ставить «возвращение» в кавычки рассматривался бы как нежелание признавать в этом слове юридическое, законодательное звучание. Критерии и границы, как видно, здесь настолько эластичны, что применять и полагать их можно практически любым способом, в зависимости от собственных убеждений.

Третий раздел «Риторики манипуляции», посвященный вопросам расизма, вообще не вписывается в концепцию книги и представляет собой самую общую критику расистских пережитков и укоренившихся расовых предрассудков. Связи с риторикой и манипуляциями в этом разделе практически не обнаруживаются; рассуждения Харви о самом слове «раса» (которое может применяться в разных своих значениях) и о псевдонауках (евгенике и расологии) с натяжкой можно увязать с манипуляцией, а раздел, посвященный «белому ньюто» (*white whine* — так автор называет попытки отдельных деятелей говорить о расовой ненависти в сторону «белого» населения), с большими, опять же, допущениями примыкает к теме риторики. По большей части эта глава представляет собой усредненное изложение более или менее общеизвестных фактов о рабовладельческом прошлом и его последствиях в Соединенных Штатах («Чтобы перечислить все преступления, совершенные во имя “расы”, потребовалось бы гораздо больше места, чем одна глава в

книге о риторике манипуляции и семантических перверсиях», с. 107¹³), включающее в себя стереотипный призыв начать «открытое обсуждение и постепенное просвещение», чтобы «искоренить это гнусное наследие» (с. 106). Здесь есть разве что отдельные примеры, связанные с основной темой книги: допустим, фрагмент о слове «линчевание», которое стало обозначать любое общественное преследование. В этом можно усмотреть ослабление расистского дискурса, но Харви, наоборот, уверен, что вхождение этого термина в повседневность, пусть и в ином смысле, свидетельствует о живучести старых принципов.

Любопытно, что при явном отступлении в этом разделе от риторической темы и в целом от вопросов языка Харви настаивает на том, что «в основе всех аспектов и проявлений расизма лежит язык» (с. 88). Утверждение выглядит достаточно радикальным, но коренится оно в гораздо более скромном и, в общем, давно известном (см. у Контини¹⁴, ср. с фрагментами у того же Клемперера и т.д.) наблюдении: слово «раса» не всегда используется последовательно и может как обобщаться («человеческая раса»), так и распадаться на частности (раса как племя); из-за смешения этих двух понятий возникает ложное представление о видовом различии внутри единого человеческого рода, а это есть первооснова биологического расизма и расовых теорий. Сам Харви, что примечательно, впадает в противоположную крайность и начинает утверждать, что «раса» — это вообще фантомное понятие, не имеющее под собой никаких реальных оснований; это не мешает ему, однако, рассуждать об «одном белом ученом» (с. 105) или утверждать, что «светлокожие люди мужского пола впадают в истерику, когда их господство над человечеством встает под угрозу» (с. 90)¹⁵.

Такими суждениями завершается этот несколько диковинный экскурс, после чего Харви вновь возвращается к политической терминологии XXI в. Четвертый раздел книги посвящен понятию «культура отмены», а также социально-политическим предпосылкам и следствиям самого бытования этой культуры. Оборот «культура отмены», пишет Харви, возник в информационной сфере как пейоративный: ввели его те, «кто всячески стремился опорочить любую попытку привлечь людей властных и власть имущих к ответственности за предосудительные заявления и действия, направленные, в частности, против исторически наименее защищенных лиц или групп в обществе» (с. 126). Это тяжеловесное определение, похожее на юридический вердикт, очень контрастирует с общим стилем «Риторика манипуляции» — скорее игровым, чем канцелярским. За этим следует удивительный риторический гамбит, который, пожалуй, можно рассматривать как хрестоматийный образец собственно манипулятивных интерпретаций. Харви посвящает несколько страниц тому, что нужно было бы называть культурой отмены, а именно — нацистским этно- и геноцидальным практикам; затем он длинным списком перечисляет тех деятелей современной культуры, которые по той или иной причине подвергались общественному ostracismu (Н. Фарадж, Дж. Роулинг и др.), на-

13 Клемперер, за выведениями которого Харви более или менее методично следует, называл США образцом «единства в многообразии», во всем опровергающим нацистские теории расового и культурного изоляционизма. Харви списывает это на «наивность», «недостаток познаний» и называет заблуждением (с. 115).

14 *Contini G. I più antichi esempi di razza // Studi di Filologia Italiana. XVII. 1959. P. 319–327.*

15 Более того, наиболее «многообещающим» методом для всей системы западного образования называется не что иное, как «критическая расовая теория». Тем удивительнее, что «Риторика манипуляции» завершается мыслью о светлом будущем, в котором можно будет наконец отбросить ложное представление, будто «раса» составляет собой некую теорию или даже концепцию» (с. 193).

смешливо называя их «жертвами», и высмеивает то «нелепое преувеличение», с которым все эти люди говорят о своей «отмене»: насколько их «страдания» ничтожны по сравнению с ужасами концлагерей и т.п. (с. 128–130). Подмена очевидна: почему, собственно, геноцид XX в. нужно называть некоей эвфемистической «отменной», а доктрину его внедрения — некоей «культурой», то есть заведомо украшательским термином? Анахроническое транспонирование в прошлый век современной терминологии, содержательно никак не связанной с нацизмом и военными преступлениями, приводит к явно лакировочной картине истории (побочный эффект, не преследуемый автором), но зато позволяет Харви в нужную ему сторону перетолковать картину века нынешнего. На с. 127 он называет Клемперера «*woke*-свидетелем Третьего рейха», описавшим личный опыт «культуры отмены»; в этой неуместной характеристике слышится удивительная для специалиста нечужкость, стилистическая и нравственная.

В книге вроде бы устанавливается понятный критерий: о настоящей «отмене» можно говорить только в тех случаях, когда жертва лишается жизни за свою деятельность (остается вопрос о том, почему ту или иную форму расправы вообще нужно переименовывать в облагороженных формулировках, но во всяком случае такое видение проблемы можно систематизировать), — об этом прямо сказано на с. 127, 129, 130, 133 и 134. Параллельно с этим читаем и совершенно иную формулировку: «настоящая» отмена подразумевает «лишение прав, потерю мира и благополучия» (с. 130) — но в таком случае все отвергнутые автором примеры снова возвращают свое значение. Объяснить подобное рассогласование несложно: в тех случаях, когда «отмене» подвергаются политические противники движения, с которым солидаризуется Харви, вводятся одни критерии, удобные для денонсирования всяких претензий на статус пострадавшего; в тех же случаях, когда «отмена» выпадает на долю условных соратников автора, вводится уже другая система измерений, в которой пострадавшие «за справедливость и равенство» (с. 146, 147) буквально канонизируются.

«Культура отмены» то описывается как «преступление против будущих поколений» (с. 134), как «бездумное упразднение народов и культур» (с. 126), как «упрямая невосприимчивость к жизненному опыту тех людей <...>, с которыми мы потеряли связь из-за лени, страха и невежества» (с. 140), то вдруг превращается в «тот редчайший случай, когда голос бесправных меньшинств оказывается услышан» (с. 131), в «борьбу прогрессивных слоев общества против угнетения» (с. 147), в «естественную, справедливую и, пожалуй, неизбежную динамическую перестановку (власти)» (с. 130). Специфическое представление Харви об объективности прекрасно иллюстрируется следующим примером (с. 152): на сайте *Goodreads*, сказано в «Риторике манипуляции», можно найти десятки книг с идеологической критикой «воук»-движения и всего несколько работ, «в которых предпочтение отдается трезвой критической позиции»; к последним относится, например, книга с трезвым и критическим названием «*Stay Woke*», автор которой «благоклонно относится» ко всему этому движению и «предлагает стратегии по его активизации». Такой откровенно идеологизированный подход заставляет по-новому и с меньшим доверием взглянуть на те призывы к критическому мышлению, трезвой оценке событий и объективному подходу, которыми полнится первая часть «Риторики манипуляции».

Последний раздел книги отчасти отходит от этого доктринального субъективизма (граничащего, прямо скажем, с механикой пропаганды). Автор обращается к теме корпоратизации университетов: учреждения высшего образования стремительно превращаются в коммерческие предприятия, а их выпускники насильственно встраиваются в программу *New Public Management*. Проблема эта рассматри-

вается главным образом на лексикографическом уровне — то есть Харви возвращается к «риторике манипуляции» как таковой. Студенты и преподаватели, пишет он, несмотря на свое приближение к науке (а значит, к критическому мышлению), неизбежно остаются «пользователями языка» и тоже охвачены пространством языковой игры (в витгенштейновском смысле слова) и тоже «очаровываются» языком. Внутреннее усвоение корпоративной лексики в академической среде делает корпоративную идею второй натурой для преподавателя, транслирующего эту форму повседневной нормальности, не подвергаемую уже ни осмыслению, ни критике, в студенческое сообщество. Как результат — повсеместная «покорность» (*compliance* как «соответствие требованиям», Харви называет этот термин ключевым для корпоративного дискурса) общепринятым представлениям, введенным через квазирекламный корпоративный сленг и «вокабуляр торгашей, сплавляющих свой товар на базаре» (с. 173).

Среди обесмыслившихся маркетинговых понятий, циркулирующих в сфере высшего образования, Харви выделяет, во-первых, «высшее качество» (*excellence*) и сопутствующие адъективные обороты: «высшего уровня», «ведущий», «видный», «мирового класса» и т.п. Здесь он вновь ссылается на Клемпера: в ЛТИ любые решения власти — неизменно «исторические», а решения высшей власти — «всемирно-исторические». «Качество» обеспечивается за счет «эффективности» (*efficiency*, производительность, — в противоположность *effectiveness*, то есть результативности). «Эффективность» требует постоянного наращивания коэффициентов полезного действия, что приводит к дестабилизации академических дисциплин, наиболее уязвимых в финансовом отношении. Гуманитарные науки, пишет Харви, принимают на себя основной удар «рационализаторских» сокращений, и в результате молодые специалисты не имеют никакого представления об онтологии и эпистемологии научных исследований, о «взаимодействии между воображением и разумом» (с. 166), о критике в подлинном смысле и о всемирно-гуманистической мысли как таковой; гуманитарные дисциплины первыми исключаются из учебных программ, что роднит корпоративную систему с тоталитарной, воспринимающей гуманизм как очаг интеллектуального сопротивления.

Далее, для поддержания «эффективности» вводится цепочка проверяющих органов (призванных регулировать каждое преподавательское решение), а вместе с ней — понятие «подотчетность». По сути, продолжает Харви, речь идет об «организационном безумии» бюрократического толка: ученые берут на себя гигантские объемы бумажной работы, пассивно усваивая таким образом колоссальные объемы информационного мусора, и оказываются не способными в таких условиях заниматься исследовательской работой. Можно сказать, что подобная перегрузка есть наиболее грубый и насильственный, по существу, тоталитарный способ манипуляции. Как показывает автор, «академенция» не просто изматывает, но «унижает и инфантилизует», а сама программа *New Public Management*, по его словам, генеалогически связана с тоталитаризмом правого крыла. С целью скрыть внутренние проблемы академической среды разрабатываются программы университетского «брендинга», причем одержимость брендом становится «студенческим эквивалентом воинственно-патриотического синдрома» (с. 183). В условиях конкуренции университетов-брендов снимается всякое различие между образовательными организациями и поставщиками услуг. Академические институты разрабатывают стратегии по привлечению и удержанию «клиентов», идеалом ученого становится «успешный преподаватель-предприниматель» (с. 174), а само преподавание рассматривается как деятельность «инструкторская», а не собственно образовательная. Студент представляется в первую очередь как клиент образовательного заведения, оценивающий преподавателей («обратная связь») в их качестве

«бизнес-шестеренок»; таким образом, «мнимый потребительский спрос возвышается над образованием» (с. 176).

Начало корпоративного поворота в университетской среде Харви относит к 1980-м гг., но нельзя не заметить явных и даже удивительных параллелей между этими рассуждениями из «Риторика манипуляции» и мыслью первой половины XX в. — социологической и филологической. Так, еще Макс Вебер, рассматривая разницу между немецким и американским университетами, описывал последний практически в тех же торгово-рыночных терминах, какие мы обнаруживаем у Харви: «О своем учителе американский юноша имеет вполне определенное представление: за деньги моего отца он продает мне свои знания и методические принципы точно так же, как торговка овощами продает моей матери капусту. <...> Молодому американцу никогда не придет в голову покупать у него “мировоззрение” или правила, которыми следует руководствоваться в жизни»¹⁶. Представители американской «новой критики» в 1941 г. предложили полную реформу гуманитарного образования в высшей школе, дав обширную критику уже существующих подходов, — речь шла и о бюрократической перегрузке преподавателей, и о потребительском отношении студентов к образованию, и о других признаках «корпоративизма» по Харви¹⁷. Лео Шпитцер в 1942–1951 гг. разработал целую программу по гуманистическому переустройству американских университетов¹⁸, и здесь сходство с критикой той же системы у Харви местами почти доходит до полного тождества деталей. Ключевая разница между всеми этими примерами и «Риторикой манипуляции» в том, что и Вебер, и Шпитцер, и «новые критики» считали американский университет, при всех его проблемах, полностью защищенным от тоталитарных и вождистских тенденций, — Харви же рассматривает корпоративную школу XXI в. как едва ли не главное средоточие всех антиутопических веяний современности. С учетом транснационального характера корпоративизма речь, очевидно, должна идти о мировой академической тенденции, а не только об американской, и Харви косвенно указывает на необходимость такого вывода, когда затрагивает тему французских университетов. В целом, однако, «Риторика манипуляции» проникнута таким пылким и субъективным антиамериканизмом, что многие выведения автора приходится воспринимать с долей скепсиса¹⁹.

«Риторика манипуляции» очевидным образом задумывалась как американский ЛТИ, как проекция клемпереровских наработок на новую реальность. Между тем работа Клемпера — это высокое гуманитарное достижение, отмеченное и профессиональным усердием, и духовным переживанием, и воспроизвести ее за счет формально-вербальных сопоставлений просто невозможно. «*Lingua Imperii Americani*» у Харви не сложилась (в том числе и по-настоящему не сложилась в язык) по множеству причин. Это и недостаточное теоретическое подкрепление, и нехватка конкретных примеров, и смешение риторики со стилистикой, и откоро-

16 Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова, П.П. Гайденоко // Вебер М. Избранные произведения / Сост., общ. ред. Ю.Н. Давыдова. М.: Прогресс, 1990. С. 727–728.

17 Foerster N., Wellek R. et al. Literary Scholarship, Its Aims and Methods. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1941.

18 См., например: Spitzer L. The Formation of the American Humanist // Publications of the Modern Language Association of America. 1951. Vol. LXVI. № 1. P. 39–48.

19 Ср., например: «Соединенные Штаты лидируют только в таких областях, как массовые аресты, всеобщее владение оружием, количество убийств и вечная война» (с. 23). Сравнения США с Третим рейхом и вовсе возведены в систему, а «аргументы к Гитлеру» приводятся в книге слишком часто и по любому поводу, что отчасти обесценивает апелляции к ЛТИ.

венно пропагандистские отступления, и вторичность многих умозаключений. Автор сосредоточивается на том, как риторика и семантика могут служить интересам власти, но при этом порой переоценивает роль манипуляций в современном обществе, игнорируя более сложные социальные и политические контексты. Многие из рассмотренных техник являются не столько инструментами «злонамеренных» манипуляторов, сколько необходимыми компонентами повседневной коммуникации. Это не значит, однако же, что книга не заслуживает внимания и не является интеллектуальным феноменом: многие теории, сформулированные или намеченные в книге, представляются исключительно любопытными (можно вспомнить, например, концепцию пропагандистской омонимии), предложенный инструментарий выглядит достаточно конкретным, а большинство изложенных концепций не ограничиваются американским контекстом и могут рассматриваться в общемировом значении. Харви абсолютизирует и почти олицетворяет «Критическую Бдительность» (см. с. 159, 160), то есть способность субъекта к самостоятельному суждению: всю «Риторiku манипуляции» можно рассматривать как своего рода учебное пособие по развитию этого навыка, и в этом смысле вполне закономерно, что предметом критического осмысления становятся и взгляды самого автора.